

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЙ

I. ОТПРАВЛЕНИЕ

Я ненавижу путешествия и путешественников. И все же я готов поведать вам о моих странствиях. Сколько же времени потребовалось, чтобы на это решиться! Пятнадцать лет прошло с тех пор, как я в последний раз уехал из Бразилии. Все это время я собирался приступить к написанию книги, и всякий раз что-то вроде стыда и отчужденности мешало мне. Да что там?! Разве заслуживает подробного описания множество мелких деталей и незначительных событий? Приключение — не часть профессии этнографа, это рабская зависимость: оно только отягощает продуктивную работу грузом недель или месяцев, потерянных в дороге; часами бездействия в долгом пути к объекту исследования; голодом, усталостью, порой болезнью; и всей массой повседневных обязанностей, которые съедают дни без остатка и превращают полную опасностей жизнь в самом сердце девственного леса в подобие военной службы... Ведь как много усилий и напрасного труда может быть потрачено ради объекта, не только не представляющего материальной ценности, но и не обещающего достойной награды за издержки нашей профессии. Истины, за которыми мы отправляемся так далеко, ценны сами по себе. Конечно, стоит посвятить полгода странствий, лишений и ужасной усталости поиску (который займет несколько часов, а иногда — дней) неизвестной легенды, или свадебного обряда, или полного списка племенных имен. А вот пометка для памяти: «В 5:30 утра мы встали на рейд в Ресифи под крики чаек, и

флотилия торговцев экзотическими фруктами тут же плотно окружила корпус судна». Имеет ли смысл браться за перо ради столь незначительного воспоминания?

Тем не менее такие рассказы достаточно популярны, что кажется мне необъяснимым. Амазония, Тибет и Африка заполняют книжные лавки заметками о путешествиях, отчетами об экспедициях и фотоальбомами, авторы которых заботятся прежде всего не о достоверности описываемых фактов, а лишь об эмоциональном воздействии на читателя. Мало того, что они волнуют воображение, — с каждым разом потребность в подобной пище растет, и читатель с жадностью поглощает ее в огромных количествах. Сегодня быть исследователем — это профессия, суть которой состоит не только в том, чтобы обнаружить в результате многих лет тяжелого труда скрытые факты, как может показаться на первый взгляд, но и в том, чтобы пройти тысячи километров в поисках интересных фото- и киносюжетов, лучше цветных. Ведь благодаря им зал на протяжении нескольких дней будет набит толпой внимающих, которые примут пошлые, обыденные вещи за удивительные открытия только потому, что автор не просто записал их, не сходя с места, а освятил расстоянием в двадцать тысяч километров.

Что слышим мы на этих публичных выступлениях и что читаем в этих книгах? Банальные анекдоты об ограблении касс, о мошенничестве старпома и примешанные к ним, затасканные обрывочные сведения, уже с полвека переходящие из книги в книгу. Но простодушие и невежество читателя вновь превращают нелепый факт в уникальное открытие. Бывают и исключения, честные путешественники существовали во все времена; из тех, кто сегодня пользуется благосклонностью публики, я охотно упомянул бы одного или двух. Моя цель — не разоблачать мистификации или присуждать награды, а скорее понять нравственный и социальный феномен, недавно возникший во Франции и теперь так ей свойственный.

Около двадцати лет французы почти не путешествовали, и исследователи выступали с рассказами о своих приключениях в отнюдь не переполненном зале Плейель. Единственным местом в Париже, отведенным для такого рода собраний, оставался маленький темный амфитеатр, холодный и полуразрушенный. Рас-

положен он в старинном павильоне на краю Ботанического сада*. Общество друзей музея еженедельно устраивало там — возможно, эта традиция существует и по сей день — публичные лекции по естественнонаучной тематике. Слабые лампы кинопроектора отбрасывали расплывчатые тени на стену, служившую большим экраном, так что лектору приходилось утыкаться в нее носом, чтобы разглядеть изображение. А публика и вовсе не различала очертаний из-за следов подтеков на штукатурке. Лекцию задерживали на четверть часа в тревожном ожидании новых слушателей, в то время как редкие завсегдатаи занимали привычные места. Когда отчаяние доходило до предела, зал наполовину наполнялся детьми в сопровождении мам или нянек: одни — жадные до любого бесплатного зрелища, другие — утомленные уличным шумом и пылью. Стоя перед сборищем этих бледных призраков и нетерпеливой детворы — высшая награда за столькие усилия, труды и хлопоты, — докладчики использовали единственную возможность поведать о самых сокровенных воспоминаниях людям, которых подобные откровения впечатлить не могли. И в сумерках зала говорящий чувствовал, как воспоминания постепенно отдаляются от него и одно за другим падают камнем на дно колодца.

Таким было возвращение, едва ли более тоскливое, чем торжественный отъезд — ужин, устроенный франко-американским комитетом в одном из отелей на улице, которая сегодня носит имя Франклина Рузвельта. В это нежилое здание повар явился двумя часами раньше, во всеоружии принесенных с собой конфорок и посуды, но наспех проведенное проветривание не избавило помещение от затхлого запаха.

Неловко себя чувствуя в тоскливой атмосфере, которая там царила, мы сидели вокруг маленького столика в центре огромной гостиной, где едва успели подмести центральную часть. Молодые преподаватели, которым еще только предстояло работать в провинциальных лицах, знакомились друг с другом. И только по прихоти Жоржа Дюма мы перенеслись из сырых меблированных комнат супрефектуры в гостиную, пропитанную ароматом грога, погребя и побегов виноградной лозы, на-

* Ботанический сад является частью Музея естествознания. — *Примеч. перев.*

поминающих о тропических морях и комфортабельных судах; этот эксперимент был нацелен на создание представления о путешествии, хотя бы отдаленно отличающегося от нашего.

Я был учеником Жоржа Дюма в период его знаменитого «Психологического трактата». Раз в неделю, не помню точно, в четверг или в воскресенье, в утренние часы он собирал изучающих философию в зале больницы Святой Анны; одна из стен, напротив окна, была увешана забавными рисунками душевнобольных. Ощущение чего-то невероятного не покидало нас. Дюма водружал на кафедру свое сильное, нескладно скроенное тело, несоответствующее с его шишковатой головой, которая напоминала белесый корень, поднятый со дна моря. Лицо воскового цвета сливалось с короткими седыми волосами, стриженными под ежик, и с белой бородкой, торчавшей во все стороны и отталкивающей во всех смыслах. Забавная, жалкая, совсем неинтересная, с взъерошенным хохолком фигура внезапно превращалась в человека благодаря взгляду угольно-черных глаз, оттенявших белизну лица и рубашки с отглаженным и накрахмаленным воротником, контрастирующей с неизменно черными шляпой с широкими полями, галстуком и костюмом.

Его уроки ничему особенному не научили, да он к ним никогда и не готовился, полагая, что обладает природным шармом. Чрезмерно экспрессивная речь искривляла его губы в гримасы, заставляла прихотливо играть его голос — сиплый, но певучий. Это был голос сирены, который странными модуляциями не только заставлял вспомнить его родной Лангедок, но, более того, отсылал в глухую провинцию, к стародавней мелодике разговорного французского. Так его лицо и голос вкупе создавали ощущение чего-то совершенного добродушного и в то же время язвительного: своеобразный образ гуманиста XVI столетия, врача и философа, бессмертный по духу, но во плоти.

Второй, а иногда и третий час лекции был посвящен осмотру больных: мы присутствовали при необычных представлениях с участием хитрого врача-практика и пациентов, за годы безумия привыкших к этим типичным упражнениям. Хорошо знающие, чего от них ждут, они по сигналу впадали в беспокойное состояние и чрезмерно сопротивлялись своему укротителю, чтобы тот мог как можно ярче продемонстрировать свои способно-

сти. И аудитория охотно очаровывалась его виртуозностью. Те, кто был удостоен внимания учителя, вознаграждались и доверием одного из больных в личной беседе. Ни один контакт с индейскими дикарями не напугал меня так, как разговор с одной старой дамой, состоявшийся однажды утром. Она была с ног до головы укутана в свитера и считала себя тухлой селедкой среди кубиков льда. Внешне спокойная, в любой момент она могла выйти из себя, если бы ее защитная оболочка вдруг растаяла.

Дюма был в некоторой степени мистификатором, вдохновенно обобщающим материал. Обширный замысел его работ служил подтверждению довольно обманчивого критического позитивизма. Этот ученый был человеком большого благородства, но таким он предстал передо мной много позже, на следующий день после перемирия* и незадолго до своей смерти, когда он, почти уже слепой, вернувшись в свой родной Лединыйян, написал мне приветливое и сдержанное письмо с единственной целью выразить солидарность первым жертвам тех событий.

Я всегда сожалел, что мне не довелось знать его юношей, смуглым брюнетом, похожим на конкистадора, когда взволнованный научными открытиями XIX века в области психологии, он отправился на духовное завоевание Нового Света. Как земля принимает разряд молнии, так бразильское общество приняло его. И в этом проявился, несомненно таинственный феномен, когда два осколка истории Европы четырехсотлетней давности (некоторые важнейшие принципы устройства которой хранились, с одной стороны, в протестантских семьях юга Франции, с другой — в среде бразильской буржуазии, эстетской и немного декадентской) сошлись, признали друг друга и воссоединились. Ошибка Жоржа Дюма была в том, что он так никогда и не осознал подлинный исторический характер этих обстоятельств. Ему удалось соблазнить лишь одну Бразилию — Бразилию землевладельцев (их кратковременный приход к власти создал иллюзию, что это и есть подлинная Бразилия), которые постепенно инвестировали промышленные предприятия с иностранным участием и стремились обрести идеологическую опору в добро-

* Перемирие было заключено правительством Виши с гитлеровской Германией после поражения Франции в 1940 году. — *Примеч. ред.*

порядочном парламентаризме. Наши студенты, происходившие из семей иммигрантов новой волны и мелких помещиков, связанных с землей и разоренных рыночными спекуляциями, зло называли крупных землевладельцев «grão fino» — сливки общества. Примечательно, что открытие университета в Сан-Паулу, главное деяние Жоржа Дюма, способствовало продвижению именно представителей скромного среднего слоя, перед которыми после получения дипломов открывались перспективы административной службы. Так что наша миссия в университете состояла в том, чтобы содействовать формированию новой элиты, которая вскоре начала отдаляться от нас, по мере того как Дюма, а затем и министерство иностранных дел отказывались понимать, что эта элита — самое ценное из всего нами созданного, хотя она и стремилась подорвать феодальный слой, который ввел нас в Бразилию, с одной стороны, чтобы создать себе залог на будущее, а с другой — ради приятного времяпрепровождения.

Но тем вечером, во время банкета франко-американского комитета, ни я, ни мои коллеги, ни сопровождавшие нас жены не могли еще оценить ту роль, которую нам невольно предстояло сыграть в эволюции бразильского общества. Мы были слишком поглощены наблюдением друг за другом и опасениями своих возможных промахов, ведь Жорж Дюма нас предупредил, что теперь нужно быть готовым последовать образу жизни наших новых хозяев, то есть посещать автомобильный клуб, казино и ипподром. Это казалось невероятным для молодых преподавателей с жалованьем в двадцать шесть тысяч франков в год, даже после того как нам, немногочисленным участникам экспатриации, его устроили.

«Самое главное, — сказал нам Дюма, — вы должны быть хорошо одеты». Стремясь нас успокоить, он добавил с трогательным простодушием, что на этом можно хорошо сэкономить недалеко от рынка Ле-Аль в заведении «Круа Жаннетт», где он всегда делал покупки, пока учился в Париже на врача.

II. НА БОРТУ

Как бы там ни было, мы не предполагали, что в течение следующих четырех или пяти лет наша немногочисленная группа за

редким исключением будет путешествовать первым классом на грузопассажирских судах, принадлежавших компании морских перевозок, которая в то время обеспечивала сообщение с Южной Америкой. На выбор предлагались каюты второго класса на роскошном судне или первого класса, но на более скромных судах. Были те, кто в погоне за сомнительной выгодой — с пользой провести время в компании послов — выбирал первый вариант, оплачивая остаток суммы из собственного кармана. Мы же отдавали предпочтение второму и хоть и тратили на дорогу лишние шесть дней, но зато могли почувствовать себя полновластными хозяевами и посетить по пути множество гаваней.

Сегодня, по прошествии двух десятков лет, мне бы хотелось по достоинству оценить то неслыханное великолепие, то исключительное по-королевски привилегированное положение, дарованное нам, путешествующим в составе восьми или десяти человек: палуба, каюты, курительный салон и столовая были в нашем полном распоряжении — и все это на корабле, рассчитанном на сто, а то и сто пятьдесят пассажиров. На корабле, который на протяжении девятнадцати дней, благодаря отсутствию посторонних, казался нам бескрайним пространством, целой страной, — и наши владения двигались вместе с нами. После двух или трех поездок, едва поднявшись на борт, мы тут же возвращались в привычный мир: мы поименно знали всех первоклассных марсельских стюардов, усатых, в обуви на толстой подошве, от которых исходил резкий чесночный запах, когда они подавали нам филе пулярки или тюрбо. Обеды, и без того пантагрюэлевские, становились еще обильнее из-за нашей малочисленности. Но даже при самом большом желании мы не смогли бы уничтожить все запасы корабельной кухни.

Конец одной цивилизации, начало другой, внезапное осознание того, что, возможно, наш мир становится слишком мал для людей, его населяющих... Не столько цифры, статистические данные и революции открыли мне эти очевидные истины, сколько ответ, полученный несколько недель назад по телефону, пока я тешил себя мыслью пятнадцать лет спустя вновь обрести молодость, вернувшись в Бразилию, — как бы ни складывались обстоятельства, мне следовало бы заказывать каюту за четыре месяца.

А я ведь наивно полагал, что с появлением авиарейсов между Европой и Южной Америкой только редкие чудачки предпочитают путешествовать по морю! Увы, как мы заблуждаемся, когда думаем, что вторжение одного предполагает исчезновение другого. Наличие комфортабельных авиалайнеров не способствует сохранению прежней безмятежности морских перевозок, так же как и Лазурный берег не превращает окрестности Парижа в деревенскую глушь.

Однако именно между чудесными морскими путешествиями 1935 года и странствиями 1941-го, о которых я старался позабыть, произошло и другое событие, в будущей значимости которого я никоим образом не сомневался. На следующий день после перемирия, благодаря дружескому вниманию к моим этнографическим работам и неустанной, почти родственной заботе Роберта Х. Лоуи и Андре Метро, живущих в США, я получил приглашение от нью-йоркской Новой школы социальных исследований в рамках совместной с Фондом Рокфеллера программы спасения европейских ученых, находящихся в немецкой оккупации. Нужно было ехать, но как? Первой мыслью было вернуться в Бразилию и продолжить свои довоенные исследования. В маленьком помещении на первом этаже в Виши, где находилось посольство Бразилии, когда я добивался возобновления визы, произошла короткая, но трагичная для меня сцена. Бразильский посол Луиш ди Суза-Данташ, которого я хорошо знал, поднял печать и уже было приготовился поставить ее в паспорт (он сделал бы это, даже если бы мы не были знакомы), как вдруг один из советников почтительно-холодным тоном напомнил послу, что подобные полномочия были с него только что сняты правительством. На несколько секунд его рука зависла в воздухе. Глядя на советника тревожным, почти умоляющим взглядом, посол пытался заставить его отвернуться, чтобы печать все-таки коснулась бумаги, тем самым позволив мне уехать из Франции и отправиться в Бразилию, а может, и не только туда. Но все было тщетно, взгляд советника застыл на руке посла, и она машинально рухнула рядом с документом. Я не получил визы, и удрученный посол вернул мне паспорт.

Я возвратился в свой дом в Севеннах, недалеко от которого, в Монпелье, по велению судьбы, ввиду прекращения военных

действий я был демобилизован, и отправился в Марсель. Из разговора в порту выяснилось, что один из кораблей вскоре направится к берегам Мартиники. Бродя от причала к причалу, от дока к доку, я наконец понял, что вышеупомянутое судно принадлежит той самой Морской транспортной компании, которая еще со времен нашей университетской французской миссии в Бразилии, а то и раньше, предоставляла услуги только особенным, самым верным клиентам. В тот день в феврале 1941-го дул северный ветер, я все же отыскал в холодной и запертой на все замки конторке одного чиновника, который когда-то представлял нам эту компанию. Да, корабль существовал, да, он должен был вот-вот отправиться, но попасть на него было совершенно невозможно. Почему? Я не понимал, а он не мог мне этого объяснить. Все уже не так, как раньше. Но как же быть? Ах, все будет так долго и так утомительно. Он даже представить себе не мог меня на корабле.

Бедняга все еще видел во мне представителя французской культуры; а я уже чувствовал себя жертвой концентрационного лагеря. К тому же, я провел два года сначала в гуще девственного леса, потом в стремительном отступлении от одного населенного пункта к другому, уходя от линии Мажино в Безье переправами через Сарт, Коррез и Аверон, ехал в вагонах для перевозки скота. Так что шепетильность моего собеседника казалась мне неуместной. Я уже видел себя прежним странником, разделяющим и труды, и скудную пищу с горсткой матросов, брошенных на произвол судьбы на затерянном в океане судне, и, казалось, слышал шепот волн за бортом.

В конце концов я получил билет на судно «Капитан Поль-Лемерль», но только в день отплытия начал понимать, пробираясь сквозь ряды жандармов в касках и с автоматами в руках, которые стояли по обе стороны причала и ударами и бранью обрывали прощания пассажиров с провожавшими их родственниками или друзьями: приключением это было только для меня, а больше походило на отправку каторжников. Но даже грубость жандармов не поразила меня так, как численность уезжавших. Около трехсот пятидесяти человек набилось на борт маленького суденышка, где — и я собирался это тотчас же проверить — имелось всего две каюты с семью койками. Одна из них была